

Therese Bohman

DEN ANDRA KVINNAN

NORSTEDTS

Спасла меня плебейская кровь.
Умереть мне не так-то легко.
Хуже приходится богам, которым необходима любовь.
/.../

Я сижу на кухне, и мое сердце
не что иное, как губка для мытья посуды.
Оно побывало на дне и способно впитать
что угодно.

Оса Нельвин

Ноябрь полностью завладел Норрчёпингом, всю осень город окутывают туманы. Липы на аллеях горят желтизной, воздух теплый, но по утрам, когда я иду к автобусной остановке у вокзала, пересекая двор Эстгётского театра и читая надпись над входом: «Доноси вековую скорбь, доноси вековую радость*», на улице сыро и холодно.

Дома у меня полы стали холодными, собственно холодно во всей квартире, поскольку домовладелец, похоже, еще всерьез не включил отопление, батареи едва теплые, а по полу тянет. Я живу на первом этаже, и в выходящей на улицу комнате, которая служит мне гостиной и спальней, нет жалюзи. Возможно, их сломал кто-то, живший здесь до меня. С внутренней стороны окна я понизу приклеила скотчем бумагу для

* Строка из стихотворения Эсайаса Тегнера «Художник». (Здесь и далее примечания переводчика.)

выпекания, чтобы свет проникал, а проходящие мимо люди не могли заглядывать внутрь. До этого однажды утром я, проснувшись, увидела пялившегося на меня мужчину, его лицо покачивалось за окном подобно розовому воздушному шарик. Поняв, что я его заметила, мужчина сразу ушел, но, возможно, он долго простоял там, наблюдая за мной спящей. Потом я не могла отделаться от мысли, одновременно неприятной и будоражающей: возможно, он не единственный, думала я. Может, он слышал обо мне от какого-нибудь знакомого, может, мужчины, подглядывающие за мной, пока я сплю, сменяют друг друга, приходят с рассветом и надеются, что я еще немного сброшу одеяло.

Затем неприязнь взяла верх, я пошла, купила бумагу для выпекания, тщательно приклеила ее скотчем достаточно высоко, чтобы нельзя было заглянуть внутрь, и сходила на улицу проверить, не осталось ли щелей.

В те дни, когда мне надо идти на работу, будильник звонит в половине седьмого. Асфальт за окном глубокого черного цвета, нынешняя осень влажная, по утрам в воздухе висит туман, из гавани или даже с моря доносится запах влаги.

Однообразие моей утренней рутины действует усыпляюще, все происходит, словно во сне: вечно опаздывающий автобус медленно пробирается через еще покоящиеся в утреннем тумане пригороды, по которым я проехала уже столько раз, что начала узнавать

номерные знаки автомобилей на парковках и написанные с ошибками вывески местных магазинчиков, предлагающие дешевый снюс.

К моему приходу в вестибюле больницы уже всегда стоит женщина из Красного Креста с копилкой для пожертвований, я киваю женщине, думая, что, когда у меня будет мелочь, надо бы дать ей немного денег — так я думаю каждое утро. Я отключаю сигнализацию в пустой столовой, отпираю пустые раздевалки, переодеваюсь.

У нас, работающих на кухне и в зале, такие же блузы, как у санитарок: прямоугольные, с v-образным вырезом, мешковатые, полностью лишенные посадки, — они просто висят на груди, отчего при малейшем намеке на бюст ты кажешься огромной. Белые брюки, задуманные для мужской части персонала больницы, сидят на мне хорошо, если выбрать маленький размер, что я и делаю, они прямые и плотно обтягивают бедра. Поначалу эту страшную одежду я воспринимала чуть ли не тяжелее всего, но нашла способ, как с этим справляться: крем с эффектом загара на руки, чтобы не выглядеть слишком бледной, несколько капель духов на шею, чтобы, когда запах еды и мойки становится слишком навязчивым, наклонять лицо и вдыхать их аромат, и красивое белье, которое иногда просвечивает у меня сквозь белую объемную блузу, например, кружевное окаймление груди. По-моему, это выглядит сексуально, не вульгарно, поскольку дает лишь намек, напоминание о том,

что я представляю собой нечто большее, чем ситуация, в которой я нахожусь, надевая эту страшную блузу.

Я отмечаю свой приход на работу и зажигаю все лампы, отпираю двери и лифты, выключаю простоявший всю ночь включенным духовой шкаф, выбрасываю многочисленные невостребованные контейнеры с запеченной фалунской колбасой и картофельным пюре. Вообще-то, сама по себе фалунская колбаса с пюре во все не плоха — когда я жила дома, у мамы это блюдо всегда получалось вкусным, но на большой кухне ничто не бывает по-настоящему вкусным, вечно не хватает специй. Все отдает детской едой, колбаса нарезана слишком толстыми кусками, а пюре клейкое.

Пока я засовываю упаковки с едой в большой черный пакет для мусора, в столовую входит Магдалена.

— Что это такое? — спрашивает она.

— Вчерашняя еда.

— Фу, какая гадость. Разве так можно с едой. Ты вчера работала?

— Нет.

— Я уже неделю не работала. Мне никогда не звонят. А тебе?

— На этой неделе меня пару раз вызывали.

— А мне позвонили сегодня утром, опять заболела Сив.

Она повязывает вокруг талии передник, начинает наливать воду в сервировочные прилавки. Когда работает Магдалена, всем руководит она, и, хотя она тоже

всего лишь почасовик, я не сопротивляюсь. Она давно работает здесь на тех же плохих условиях, брать ее в штат никому не хочется, она интриганка, вечно сплетничает. Сегодня она рассказывает, что одна из поварих с кухни украла из малой кассы деньги, вообще-то это тайна, сама Магдалена пообещала никому не говорить и теперь смотрит на меня призывно.

Когда все, что требовалось достать, приготовлено и я перемыла несколько ящиков бокалов для вина и длинную вереницу тарелок — с жирной пленкой майонеза, в которой застряли листочки укропа, — с какого-то мероприятия, на которое столовая одолжила посуду, мы пьем кофе. Кофе мы всегда пьем за тем же самым столом возле окна с видом на огромную парковку, простирающуюся перед входом в больницу Норрчэпинга. Я думаю, что здесь следовало разбить красивый парк, где желающие ненадолго отключиться от вида коридоров пациенты могли бы неспешно прогуливаться, или посадить радующую глаз зелень, но тут есть только автобусные остановки, места для такси, постоянный поток людей, которые приходят или уходят, доставляются в больницу или уезжают домой, а в воздухе непрерывно висит дождь. Магдалена достает с холодильного прилавка сэндвич с креветками.

— Хочешь половину?

Я отрицательно качаю головой и беру вместо этого верхнюю часть французской булочки с сыром, небрежно обернутую в пластикат.

— Сегодня будет курица, тушенная с ананасом, — с энтузиазмом говорит Магдалена, я завидую тому, что она способна ощущать на этой работе энтузиазм. — Я возьму одну упаковку домой для Андерса, он обожает такую курицу.

Потом прибывают тележки с «блюдом дня» — с тушеной курицей в больших судках, и скучным блюдом для вегетарианцев. Я варю в большой пароварке рис, после чего мы готовим контейнеры: накладываем курицу в кисло-сладком соусе поверх половника риса, накрываем крышками, ставим контейнеры в духовой шкаф. Ближе к двенадцати часам появляются посетители: персонал больницы и кое-кто из родственников; курица начинает заканчиваться. Я звоню вниз, на большую кухню, и прошу прислать еще.

— Там есть арахис? — спрашивает какая-то санитарка.

— Думаю, нет, — отвечаю я. — Я могу на всякий случай позвонить и спросить.

— Наверное, хорошо было бы иметь где-нибудь список ингредиентов, — говорит санитарка, глядя на коллегу, которая закатывает глаза, словно желая сказать, что здесь такого не дождешься. — Наверняка это интересует не только меня.

В больнице существует строгая иерархия, это я поняла уже в первый день, некая служебная лестница, на которой санитарки любой ценой стремятся не оказаться в самом низу, поэтому они нуждаются

в самоутверждении за счет нас — работников кухни, носящих такую же одежду, но лишь раскладывающих еду. Врачи проявляют совершенно другое отношение, они уверены в своей позиции, всегда отстраненно приветливы, терпеливы и любезны. Некоторые из них стильные, внушающие уважение своими белыми халатами и бейджами с информацией об их должности, я развлекаюсь тем, что кое с кем из них слегка флиртую, проявляя дополнительную услужливость и приветливость.

Иногда я забавляюсь мыслью о том, каково было бы стать любовницей кого-нибудь из них, особенно высокого красавца, который чересчур редко приходит на ланч в столовую. Я обдумываю, где бы мы стали встречаться, представляю его у себя дома, хотя появление его в моей однокомнатной квартирке, среди моих вещей, кажется мне невероятным. Я представляю его на своем диване, мы выпиваем по бокалу вина, разговариваем. Возможно, о литературе, которая, как выяснится, является нашим общим интересом. В моих фантазиях он предстает человеком образованным, интересующимся искусством, литературой и политикой, он поездил по миру, начитан, обходителен и, стоя перед моим книжным стеллажом, будет изучать его с восхищением. Меня интересует, что он обо мне думает, если вообще думает. Считает ли он меня такой же, как остальные внештатные сотрудницы на кухне и в зале, или, возможно, молодой мамой, которая училась в гимназии по программе «Специалист пищевого производства» и использует временную

работу в больничной столовой в качестве первого шага на пути к жизни в больших кухнях и школьных столовых, с болью в спине и плечах.

Вечером, когда мы с Эмили сидим в кафе за чашкой кофе, я ей об этом рассказываю. Я ощущаю усталость во всем теле, но если ничего не делаю по вечерам, расстраиваюсь оттого, что плохая работа полностью поглощает мою жизнь, поэтому, когда Эмили что-нибудь предлагает, я чаще всего соглашаюсь.

— Да ладно тебе, — говорит она. — Сколько ему лет? Пятьдесят?

— Около того.

— Неужели ты решилась бы на подобное? Если серьезно?

Я пожимаю плечами, хотя знаю, что решилась бы. Так и надо поступать, если хочешь писать, особенно, если живешь в таком городе, как Норрчёпинг: если ничего не происходит, нужно сделать так, чтобы произошло, тогда будет о чем писать. Произнести это вслух я не отваживаюсь, поскольку, мне кажется, это звучит высокопарно, и я боюсь, что Эмили посмотрит на меня взглядом, говорящим: «Что ты о себе возомнила?» И хотя я никогда не считала себя какой-то выдающейся, я предпочитаю промолчать.

— Он женат? — спрашивает Эмили.

— Не знаю, не проверяла.

Эмили пьет через соломинку какую-то бежевую кофейную смесь из большого бокала, на улице дует ветер,

сейчас рано темнеет. В кафе полно студентов, как и в городе, Норрчёпинг в настоящее время заполнен студентами, выходящие на площадь окна запотевают от их тепла, групповых работ и сплетен за многочисленными чашками отвратительного кофе, который тут повсюду подают. Я иду домой по улице Кунгсгатан, задерживаюсь в продовольственном магазине, где скидка на апельсины. Может, у меня нехватка витаминов, может, поэтому я так устаю? Или цинга, и скоро у меня выпадут зубы. Я провожу языком с внутренней стороны зубного ряда — пожалуй, они слегка расшатались. Возможно, скоро выпадут.

Я покупаю три апельсина. Они просто огромные, крупнее я еще не видела. Тротуары темные от влаги, ноги у меня устали. Оттого, что я целыми днями стою на жестком бетонном полу, икры застывают и напрягаются, и, едва придя домой, я ложусь на кровать, сооружаю в ногах из одеяла и подушек большую кучу и укладываюсь на спину, подняв ноги на кучу. Я прямо чувствую, как кровь высвобождается из ступней и устремляется по ногам, в икрах покалывает, щекочет. В ту секунду, когда я тянусь за верхней из лежащих на прикроватном столике книг, мой телефон начинает вибрировать, возвещая о приходе СМС от Эмили: «Решила сходить сегодня вечером в паб, присоединишься?» Я отвечаю, что не в силах, испытывая некоторый стыд от того, что не соглашаюсь, когда мне в кой-то веки предлагают провести вечер в компании. Всегда одно

и то же: если я соглашаюсь, то думаю, что лучше бы осталась дома, поскольку с друзьями Эмили мне редко бывает весело, а если отказываюсь, испытываю стыд из-за того, что я зануда.

Бодлер пишет об одиночестве, я подчеркиваю почти каждую строчку. Ощущение обреченности на вечное одиночество при неумном аппетите к жизни. Бывал ли он в студенческом пабе в Норрчёпинге? Никто, обладающий неумным аппетитом к жизни, не может этим удовлетворяться, но, возможно, он считал, что это лучше, чем ничего.

Я начала по вечерам ходить в сторону гавани, следуя за рекой Мутала-стрём, протекающей неподалеку от моей квартиры, иду по краю берега в направлении моря. Людей я встречаю редко, иногда попадается кто-нибудь, выгуливающий собаку, иногда — кто-нибудь, спешащий к Центральному вокзалу на последний автобус.

Во внутренней гавани стоят высокие треугольные башни с прожекторами, бросающими резкий бледный свет на сараи и набережные, на гофрированное железо, грузовые поддоны, огромные деревянные катушки, на которые раньше был намотан кабель. Когда они не мокрые от дождя, на них можно сидеть, рассматривать город со стороны таким, как его видят прибывающие моряки, — зрелище не слишком впечатляющее, но все-таки теплый свет цивилизации, обещания встречи с людьми, сушей и открытыми барами.

Дальше в сторону моря располагается гавань Пампусамн. Почему она так называется, я не знаю, но всегда думала, что поскольку туда причаливают корабли из Пампасов, с другой стороны земного шара, «почти на краю синей Атлантики»*, я представляю себе Аргентину, огромные равнины, синеющие горы. Эта гавань самая глубокая, построенная для трансокеанских кораблей, мне нравится слово «трансокеанские», я вижу перед собой белые пароходы в синем открытом море, солнечные блики, сначала сизых чаек, а потом, вдали, альбатроса. Для таких кораблей эта бухта — в заливе другого залива, предстает именно таким захолустьем, каковым и является, далеким городом, извергающим тюки бумаги, которые загружаются в глубокие трюмы кораблей, чтобы стать в дальнейшем газетами по всему миру: «Файнэншл Таймс», «Цайт», «Паис», все они берут свое начало здесь, в пропитанном влагой и запахом серы городе, который повидавшие все моря мира моряки стремятся поскорее покинуть, отправиться в путь, с радостью отчалить, выбраться отсюда.

Плана на жизнь у меня никогда не было, и временами я презираю тех, у кого он есть, а временами завидую им. По-настоящему хорошо я умею только писать. Меня прямо-таки тянет облекать в слова любые мысли

* Цитата из песни известного шведского поэта и композитора Эверта Тоба «Фритьоф и Карменсита».

и чувства, и поэтому я всегда полагала, что мне следует именно писать. Возможно, несколько наивно. Вероятно, я могла бы заниматься чем-нибудь другим — в школе все предметы давались мне легко, поскольку у меня хорошая голова и мне никогда не требовалось прилагать особых усилий; вообще-то я ленива. В университете это проявилось в первом же семестре, когда я провалила первый экзамен — не поняла, что заучить факты недостаточно. За годы, проведенные в школе и гимназии, я так и не научилась мыслить абстрактно. Осознав это, я испытала прямо настоящий шок, передо мной внезапно открылась совершенно новая сторона жизни. У нас дома разговоры такого типа не велись, и я не понимала, как они с такой легкостью даются всем остальным, откуда остальные члены моей группы, тоже пришедшие прямо из гимназии, так хорошо владеют этим навыком. Я по-прежнему ощущаю неуверенность перед тем, что слишком абстрактно: перед философией, которая меня восхищает и одновременно пугает, точно красивое экзотическое животное, за которым я предпочитаю наблюдать с расстояния.

Возможно, мне следовало бы просто решить стать учителем или библиотекарем, ведь едва ли все, кто получает соответствующее образование, им грезят, они просто что-то выбрали и осуществили — так люди и живут: делают выбор и потом его придерживаются, будь то образование, работа или партнер. Мне это никогда не удастся. Я обычно думаю, что мне мешает

бескомпромиссное отношение к жизни, от которого никак не избавиться. У меня одинаковое отношение ко всему: к людям, одежде, литературе.

Когда я училась в школе писательского мастерства и мы разговаривали о литературе, я никак не могла понять энтузиазма, с которым остальные говорили о некоторых писателях. Особенно о молодых шведских писателях — кое-кого из них превозносили прямо как гениев. Мне почти всегда казалось, что они пишут вычурно, хотя объяснить это мне бывало трудно. Чаще всего я и не пыталась объяснять, а молчала, чтобы не представлять странной, человеком, который не в теме или обладает плохим вкусом, хотя сама считала, что не в теме и обладают плохим вкусом как раз остальные.

Когда мы в первый день сидели вокруг стола и по очереди представлялись, преподаватель спросил, что я сейчас читаю, я ответила, что только что прочла «Записки из подполья» Достоевского и «Смерть в Венеции» Томаса Манна и как раз начала «Волшебную гору». Все остальные читали такое, что я считала банальным, — одна девушка сказала, что ее любимый писатель Астрид Линдгрэн, а в перерыве они обсуждали шедшую в утренней газете дискуссию об ограниченности роли женщины в жизни и в литературе и говорили об этом так, что я поняла: они действительно ощущают себя ограниченными. Мне было трудно уловить, что они имеют в виду, но сказать об этом я не решилась, поскольку подумала, что это докажет, что я недостойна

участвовать в ведущихся в данной школе разговорах. Я не понимала, в чем они ощущают ограничения, и считала, что они обсуждают несуществующий вопрос. Просто пишите, что хотите, иначе писать не имеет смысла, хотелось мне сказать, но у меня возникло впечатление, что им кажется, будто они пишут по чьему-то заданию; словно их задача поднимать в своих текстах вопросы типа роли женского пола, женского опыта, и они с гордостью берутся за нее из некоего чувства долга, а потом, не получая достаточной благодарности, ощущают себя униженными. Я думала о Подпольном человеке Достоевского. Мне бы очень хотелось, чтобы он учился в моей группе. С ним было бы приятнее общаться. Естественно, труднее, но по крайней мере интереснее, чем со всеми остальными.

Вместе с тем, не интересуясь их дискуссиями, я чувствовала себя предательницей. Не могла отделаться от ощущения, что любые формы сестринского братства потребовали бы от меня опуститься на более низкий уровень: мне пришлось бы в каком-то смысле приуменьшать себя и притворяться, а притворяться я не умею. Этого говорить было нельзя никому, в том числе парням, поскольку это могли воспринять как способ противопоставить себя другим девушкам, будто я закладываю своих сестер, чтобы предстать интересной. Однако дело обстояло вовсе не так: я искренне ощущала, что не имею ничего общего с ними и с тем, что их увлекает. Как говорил Подпольный человек: «Вообще же, я всегда был один».

Я часто размышляла над предпосылками женского единения, над тем, как получилось, что у меня оно вызывает клаустрофобические и гнетущие ощущения, почему в обществе других женщин я всегда испытываю неловкость. В каком-то смысле я завидовала тем, кто ее не испытывает, вроде бы это так приятно и надежно: пребывать в окружении единомышленниц, будучи уверенной, что всегда найдется кто-нибудь, готовый подставить тебе плечо, или с кем можно выговориться, хотя для подобных разговоров, похоже, существует некий шаблонный набор тем. Именно так и продолжает ощущаться с Эмили. Ее возмущение, когда я говорю что-нибудь нелестное о других женщинах, как она не в силах вникать в такое, что не соответствует ее представлениям о том, чего мне должно хотеться, — например, что мне, возможно, хотелось бы спать с немолодым женатым мужчиной. Если бы меня бросил немолодой женатый мужчина, для этого нашлись бы шаблоны, как и для структур, жертвой которых я стала, мантра об отсутствии равновесия сил и угнетении, о моделях деструктивного поведения. Сестринское братство требовало от меня отказа от самой себя. Меня интересовало, чувствуют ли другие женщины то же самое, принимают ли они это как отношения, в которые вступаешь, просчитав: здесь придется идти на кое-какие компромиссы, но дивиденды — защищенность, в какой бы форме она ни проявилась, — все-таки того стоят.

Я часто думаю, что мужчиной быть, похоже, проще. Не потому, что мне когда-либо хотелось быть им, напротив: с самого детства меня восхищало женское естество, стереотипно женское, макияж и духи, туфли на высоких каблуках. Я могла часами планировать, как будет выглядеть гардероб, на который я надеялась когда-нибудь заработать, какая одежда в нем будет присутствовать, какие ткани — шелк, кашемир, недоступные мне с бюджетом, состоящим из студенческого денежного пособия или почасовой оплаты, но в обеспеченном будущем я стану самой элегантной из всех женщин и самой женственной.

Говорить о женском естестве с другими женщинами тоже было трудно, мне почему-то казалось непристойным разбираться в нем так, как хотелось, для этого требовался некий мета-подход, при котором необходимо первым делом осознать в стереотипно женском эмоциональный заряд и его деструктивный потенциал, что для меня означает: все, что обычно кажется мужчинам сексуальным — выбритые лобки и трусики-стринги, тяга к которым почерпнута ими из мужских журналов, — неприемлемо, и давать им этого нельзя. Осознав это, можно двигаться дальше, подходить к стереотипно женскому с теоретических позиций, поскольку все это вместе — некая конструкция, игра, где я, после тщательного изучения и взвешивания, предпочла играть роль женщины. Я часто слышала, как люди, желая определить что-то хорошее, будь то произведение искусства

или нижнее белье, говорят: «Здесь чувствуется некая мысль», однако это тоже ложь, поскольку непременно подразумевается *правильная* мысль. Быть притягательной для мужчин никогда не считалось *правильной* мыслью.

Так рассуждала Эмили, хоть никогда и не формулировала этого, но я понимала это по тому, как она одевается: красиво и дорого для студентки, поскольку ежемесячно получает деньги от родителей. Она покупала одежду хорошего качества и всегда выглядела ухоженной, не как многие другие ее соученицы, всегда ходившие без макияжа, в одежде, которая на них просто висит, в бесформенных джинсах, худи и с рюкзаками. Впрочем, во всем ее облике было нечто достойное, чистенькое, безопасное, делавшее ее, как я поняла, неопишимо привлекательной для парней в студенческих пабах. Я знала, что ей и в голову бы не пришло попробовать предстать перед ними сексуальной. Сексуальное было под запретом. Студенческий город Норрчёпинг отличался целомудрием, и, хотя люди, казалось, с легкостью ложились друг с другом в постель, да и принадлежали мы к поколению, которое вечно призывали одобрять все, что вздумается, о сексуальности заговаривали все-таки редко. Возможно, целомудренным был дух времени в целом, во всяком случае, такое впечатление я вынесла от Эмили и ее друзей — единственных людей, с которыми я встречалась, за исключением коллег по работе. Сознательные студентки делали все, чтобы

дистанцироваться от девушек из рабочего класса, с которыми им, в силу экономических и географических обстоятельств, приходилось покупать одежду в одних магазинах. Как-то на вечеринке, немного раньше осенью, я угодила в разговор о нижнем белье, и там две подруги Эмили буквально били себя кулаками в грудь, чтобы выразить отвращение к такому вульгарному предмету одежды, как трусики-стринги, одновременно тщательно избегая осуждать тех, кто их носит. Под конец они сошлись на том, что в трусиках-стрингах девушки выглядят забавно, а не сексуально. «Забавно!» — торжествующе воскликнули они, найдя возможность заявить о своем просвещенном вкусе, не осуждая вкус других.

Женское естество было запутанной сетью правил с минимальной степенью свободы, причем все оставалось невысказанным. Часто я ловила себя на том, что интересуюсь, не получали ли остальные каких-либо упущенных мною инструкций, или не была ли естественность, с которой, казалось, обходят подводные камни все остальные, результатом долгой тесной женской дружбы, не оказывала ли она умиряющего воздействия на всех причастных, не формировала ли из них идеальные экземпляры современных, сознательных женщин — во всем, от основополагающего мировоззрения до предпочтений в художественной литературе и взглядов на дамскую моду.

Да, я часто ощущала: все остальные одинаковые, а я катастрофически другая. Эгоцентричная мысль.

скандинавская линия

«ДРУГАЯ» — ЭТО МАСТЕРСКИ
НАПИСАННАЯ КНИГА
О КЛАССАХ ОБЩЕСТВА,
ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЕ, ЛЮБВИ
И ОДИНОЧЕСТВЕ.

Газета **Aftonbladet**

«ДРУГАЯ» —
ЭТО ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ПЕРЕЖИВАНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ,
А ПОТОМ МАНИТ
К НЕМУ ВЕРНУТЬСЯ.

Кристина Линдквист,
газета **Uppsala Nya Tidning**

Она работает в больничной столовой шведского города Норрчёпинга, но мечтает писать книги. Одним дождливым днем врач Карл Мальмберг предложил подвезти ее до дома. Так началась история страстных отношений между женатым мужчиной и молодой женщиной, мечтающей о прекрасной, настоящей жизни. «Другая» — это роман о любви, власти и классовых различиях, о столкновении женского и мужского начал, о смелости последовать за своей мечтой и умении бросить вызов собственным страхам.

Тéрез Буман (р. 1978) — шведская писательница, литературный критик, редактор отдела культуры газеты «Экспрессен», автор трех книг, переведенных на ряд европейских языков. Роман «Другая» был в 2015 году номинирован на премию Шведского радио и на Литературную премию Северного Совета.



NORSTEDTS

25 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ

ГОРРОДЕЦ

